

надъ человѣкомъ. И это современно, и Тургеневъ современенъ: современность спрашиваетъ не только «чего», а также и «изъ-за чего»? Все пройдетъ и разрушится, какъ паутина, — нѣтъ, то-то, что нѣтъ: глубочайшія чувства человѣческаго сердца неизбывны — нельзя забыть! — и вотъ наступилъ «судъ жес. о-чайшій преимущимъ».

Звѣровидныя женщины Тургенева: Одинцова, Ирина, Полозова, Лаврецкая — эта цѣпь такой цѣпкой бессмертной жизни, замыкающаяся Еленой Безуховой въ «Войнѣ и мирѣ» Толстого, Глафирай Бодростиной въ «На ножахъ» Лѣскова и Екатериной Петровной Крапчикъ въ «Масонахъ» Писемскаго — сестры вокругъ «Древа Жизни». А какъ далека отъ этого «Древа» одиноко стоитъ Лиза: образъ восходящаго духа черезъ отреченіе. Судьба Лизы, недосказанная въ Софье «Странной исторіи», досказана въ Евлампіи «Степного короля Лири»: не побѣдивъ во имя какой-то высшей воли одну изъ своихъ воль, человѣкъ не найдетъ въ себѣ силы владѣть волею другихъ, и съ какимъ умомъ и способностями, не чета скромнѣйшей и простоватой Лизѣ, а угодить въ пылесось. И, какъ Лиза, одиноко стоитъ «Богомъ убитая» Лукерья изъ «Живыхъ мещанъ», перекликающаяся съ Ульяной изъ «Обойденныхъ» Лѣскова — «безотвѣтная, сиротливая дѣти и молитвенницы за затолокшій ихъ міръ Божій».

Безулыбный, дѣлящій жизнь между чудовищной явью и кошмарнымъ сномъ, Тургеневъ, рассказалъ о своей судьбѣ въ «Пѣтушковѣ», слышитъ «стукъ-стукъ» скрытой руки этой судьбы — тайный знакъ приближающагося удара неизбывнаго часа, отъ которого не уйти и самому живущему, самому цѣпкому, самому звѣрскому, рожденному подъ «Древомъ

Жизни». Нѣтъ, Тургеневъ не тотъ чванливый московскій хлыщъ съ парижскимъ «tiens» и «мерci», какимъ онъ могъ казаться Достоевскому, изстрадавшему и увидѣвшему свѣтъ изъ страданія въ жертвенномъ страданіи человѣка, и Толстому, разсказавшему съ исключительной вѣрой въ чудесность человѣка о радости и свѣтѣ человѣческомъ, Тургеневъ, изъ своей тайной памяти отъ четырехъ Матерей почерпнувшій силу, и сердце его — навсегда раненое нераздѣленной первой любовью и неутоленное открыто къ жуткой и жгучей бѣдѣ человѣка бунтующаго и смиреннаго передъ неумолимой безпросвѣтной судьбой и одна сквозь эту тьму, какъ огонекъ, надежда — его послѣднее слово — что неутоленное здѣсь — тамъ утолится: «любовь сильнѣе смерти».

Алексѣй Ремизовъ.

Федоровъ и современность.  
(А. Остромировъ. Харбинъ).

Жизнь и учение Н. Ф. Федорова настолько мало известны большинству читающей публики, что хочется не рецензировать книгу, о немъ написанную, а просто изложить ея содержаніе и тѣмъ самымъ дать представление объ этомъ удивительномъ и удивляющемъ человѣкѣ, котораго Толстой, Достоевскій и Соловьевъ называли своимъ учителемъ. Но и это почти невозможно: Федоровъ мыслитель настолько своеобразный, что его мысли, переданные не его словами, (вѣриѣ, не его тономъ), становятся почти грубыми и часто смѣшными. Ограничусь поэтому тѣмъ, что отмѣчу лишь въ самыхъ общихъ чертахъ вопросы, съ философіей Федорова связанные, и, дѣйствительно, являющіеся въ

какой-то мѣрѣ симптоматичными для современности.

Основная идея Федорова та, что смерть должна быть побѣждена человѣческими усилиями, причемъ предѣльнымъ выраженіемъ побѣды должно быть не только бессмертіе людей живущихъ, но и воскрешеніе живущими всѣхъ умершихъ. Люди должны понять, что ихъ главный врагъ — слѣпая, умерщвляющая ихъ природа,—и объединиться для борьбы съ этимъ врагомъ. Противъ силы слѣпой (природной) нужно мобилизовать всю ту разумную силу, которая сейчасъ направляется людьми на взаимоистребленіе: война и воскрешеніе, вотъ антиподы человѣческаго дѣйствія. Разоруженіе утопія: нельзя изѣять изъ міра энергию, идущую на «дѣланіе смерти», ее надо использовать лишь для противоположной цѣли. Всечеловѣческая армія труда, одушевленная общимъ дѣломъ, вооруженная всей мощью современной и будущей техники, армія титановъ, должна завоевать космическое пространство и собрать распыленныя въ космосѣ молекулярныя частицы всѣхъ умершихъ. Общее дѣло скромно начнетъ съ регуляціи атмосферныхъ явленій, но для человѣческаго разумнаго гenія нѣтъ преградъ, и скоро люди смогутъ свободно управлять кораблемъ-землей, пользуясь полной своей властью надъ энергией, излучаемой солнцемъ. Тогда прекратится дѣтворожденіе и человѣческое сѣмя будетъ идти на одушевленіе собранныхъ тѣлъ умершихъ...

Конечно, все это похоже на бредъ. Но мнѣ кажется, что ничего не слѣдуетъ отвергать по причинамъ внѣшней неправдоподобности: въ области явленій можно допустить все, что угодно, потому что не разумъ этому противится, а только привычка къ установившемуся

порядку, по существу же воскрешеніе умершихъ не болѣе таинственно и «безумно», чѣмъ рожденіе новыхъ людей, чѣмъ малѣйшее, вообще, проявленіе жизни или сознанія, и, конечно, чѣмъ сама смерть. Гораздо болѣе существенный, для общаго дѣла, вопросъ, это желательно ли и воскрешеніе и, даже, бессмертіе? Вѣдь воскреснетъ не только вашъ ничѣмъ не замѣчательный и ни въ чемъ неповинный предокъ, воскresнуть тысячи извѣстныхъ и неизвѣстныхъ негодяевъ, воскреснетъ во плоти самъ Іуда Искаріотъ! — а поскольку человѣкъ и тогда останется свободнымъ, какъ предвидѣть возможная послѣдствія? — Затѣмъ, если не измѣнится содержаніе жизни, то нужна ли ея нескончаемость? Ходить еще тысячи лѣтъ по субботамъ въ кафе, тысячи разъ еще ссориться и мириться съ тѣмъ же человѣкомъ, выкурить еще тысячи, — миллионы! — папиросъ, и что же дальше? Все то же: физическое бессмертіе, отсутствіе цѣли, ужасъ осуществленного, законченного, конченаго, — «бессонница, похожая на сонъ». Не объ этомъ ли времени пророчество: «тогда люди будутъ искать смерти и не найдутъ ее, захотятъ умереть, но смерть удалится отъ нихъ».

Когда Толстой говорилъ, что христіанину слѣдуетъ прежде всего исполнить евангельскія заповѣди, Федоровъ отмахивался: разумѣется!... и дѣствительно, жизнь Федорова была образцомъ праведности и милосердія. Онъ какъ будто и не подозрѣвалъ о томъ, что «исполненіе» не такъ ужъ естественно для всего человѣческаго рода, что общее дѣло, имъ выдвигаемое, потому только и есть общее, что направлено на внѣшнюю цѣль и что если люди имъ увлекутся, то забудутъ главное: зачѣмъ

имъ будетъ нужно «второе рожденіе», когда и первое сдѣлаетъ ихъ бессмертными, если творческій разумъ освободить ихъ отъ «поклоненія Отцу въ душѣ и истинѣ»?

Тутъ Федоровъ во многомъ существенномъ перекликается съ Бергсономъ: оба философа, исходя изъ христіанской любви, выдвигаютъ задачи, осуществление которыхъ сдѣлаетъ эту любовь уже ненужной и не замѣчаютъ, какъ будто, что осуществленіе все той же христіанской любви сдѣлало бы ненужными именно выдвигаемыя ими задачи. Если бы Иванъ Ильичъ прожилъ жизнь, такъ, какъ надо, то «возымѣлъ бы величайшее дерзновеніе» и сама смерть была бы ему не страшна. Но какъ надо? — вотъ камень преткновенія всякой практической философіи.

Лазарь Кельберинъ.

*Психология «Жалости»  
(Выдержка изъ доклада, прочитанного въ Берлинѣ).*

— Что же ты любишь своего мужа?  
— спрашиваютъ крестьянку.

— А какъ же? Жалѣю. Какъ не жалѣть?

— Любишь?

— Жалѣю.

Она даже не поправляетъ, не исправляетъ вопроса. Просто вмѣсто одного слова ставить другое, кажущееся ей синонимомъ. Она не отвѣтаетъ: «ѣть, не люблю, а жалѣю». Она говоритъ: «Да. Жалѣю».

Сперва пожалѣла, мысленно пригрѣла, приголубила. А потомъ и настойчиво, какъ кровь сквозь кожу, простиупила любовь. Любовь гетеросексуальная (любовь къ другому полу, т. е. самая

нормальная, чистая — и по Розанову, даже святая любовь), такая любовь можетъ начаться, какъ ощущеніе материнское. «Онъ у меня такой безпомощный». «Ахъ, ты мой несмысленышъ».

— Такъ ты любишь его?

— Жалѣю.

Въ Псковской губерніи, гдѣ я родился, гдѣ цокали, гдѣ говорили заланный, вмѣсто желанный, ницаво и цасы — крестьянка отвѣтила бы:

— Залѣю...

Съ подползающей къ намъ на брюхѣ собакой сравниваетъ Ницше это смиренное, ласково-жалѣющее чувство. Ага! Ты рядишься въ плащъ, когда не смѣешь показать клыковъ.

«Вотъ она подползла на брюхѣ, жалѣеть, лижетъ руку, но я наклоняюсь къ ней, я впился въ ея глаза. Ага! Я узналь тебя, проклятая. Огоньки въ своихъ глазахъ. Ты чуть смацуешь чужое горе. Ура! Это все не со мной случилось. И крутишься въ радости на брюхѣ».

Спенсеръ считаетъ жалость наслѣдіемъ родительского инстинкта, онъ ышетъ корней ея тамъ, гдѣ глубоко въ подпочвѣ духа нашего гнѣздятся примитивные, первичные поневолѣ винѣдрившіеся въ насъ (изъ за совмѣстной жизни семьею, кланомъ, группой) начатки соціального альтруизма.

Шопенгауэръ удивляется, поражается, странно радуется самому наличію чувства жалости на фонѣ всеобщаго, казалось бы, биологически предопределеннаго и самой природой предуказаннаго эгоцентризма отдельной особи. «Жалость — это единственная, не-эгоистическая, истинно-моральная двигательная пружина, основа самодовлѣющей справедливости всякой подлинной человѣческой любви».